Они сказали: “Ты обезумел из-за того, кого любишь”.
А я сказал: “Только безумцы знают сладость жизни”.

Яхья,
Рауд аль-Райан

Начать с того, что жили мы на седьмом этаже без лифта и мадам Розе с ее телесами приходилось каждый божий день таскаться вверх по лестнице на своих двоих, от этого и вся морока. Так она нам всегда говорила, когда не жаловалась на что-нибудь другое, потому что она еще и еврейка была в придачу. Да и здоровье у нее с годами стало не ахти, так что скажу вам прямо: кто-кто, а эта женщина заслуживала лифта.

Мне было года три, когда я первый раз увидел мадам Розу. Раньше память ни у кого не включается, и все мы живем в беспамятстве. Значит, я тоже вышел из беспамятства года в три или, может, в четыре и до сих пор жалею.

В Бельвиле множество других евреев, арабов и черных, но мадам Розе одной приходилось карабкаться пешком на седьмой. Когда-нибудь, говорила она, так и умру посреди лестницы, и мы все принимались плакать — так всегда делается, когда кто-нибудь умирает. Обычно нас у нее бывало шестеро, а то и семеро мальцов.

Сперва я не знал, что мадам Роза возится со мной за деньги, ради перевода, который получает раз в месяц. А когда узнал, что я платный, лет в шесть или семь, меня как обухом по голове. Я-то думал, мадам Роза меня любит задаром и мы с ней не чужие. Это было мое первое большое горе, я проплакал всю ночь.

Мадам Роза увидела, что я расстроился, и объяснила, что семья — это пустой звук, ничего не значит, а есть вообще такие семьи, которые уезжают на лето и оставляют своих собак привязанными к дереву, и каждый год таких заброшенных собак, лишенных ласки близких людей, набирается по три тысячи. Она взяла меня на колени и поклялась, что я — самое дорогое, что у нее есть на свете, но я сразу подумал про перевод и ушел весь в слезах.

Сбежал вниз по лестнице, зашел в кафе месье Дрисса, что у нас на первом этаже, и сел за столик напротив месье Хамиля. Месье Хамиль — торговец коврами, он объездил всю Францию, все видел и все знал. У него красивые глаза, и смотрит он по-доброму. Когда я с ним познакомился, он уже был очень старый и с тех пор все стареет.

— Почему вы всегда улыбаетесь, месье Хамиль?

— Потому что каждый день благодарю Господа за хорошую память, Момо.

Мое имя Мохаммед, но все зовут меня сокращенно — Момо.

— В юности, шестьдесят лет назад, я встретил молодую женщину, и мы друг друга полюбили. Наша любовь продлилась восемь месяцев, а потом она уехала в другой дом, но я и сейчас, шестьдесят лет спустя,

ее помню. Пообещал, что никогда не забуду. И никогда не забывал, хотя шли года. Иногда страшно становилось: впереди еще целая жизнь, и как мог я, смертный человек, давать такое слово, когда у Господа в руках стирательная резинка? Но теперь я спокоен. Я точно не забуду Джамилю. Слишком мало осталось времени, умру прежде, чем успею забыть.

Я подумал о мадам Розе и решился спросить:

— А можно жить без любви, месье Хамиль?

Месье Хамиль не ответил. Только отхлебнул полезного для здоровья чая с мятой. С некоторых пор он всегда носил серую джеллабу, чтобы, если вдруг позовут, не застали его в пиджаке. Он взглянул на меня и продолжал молчать. Наверно, думал, что мне, малолетке, еще рано. Мне тогда было лет семь или восемь — точнее не скажу, я жил без датировки, а почему, вы поймете, когда мы получше узнаем друг друга, если захотите, конечно.

— Почему вы не отвечаете, месье Хамиль?

— Ты еще мал, и есть вещи, о которых детям лучше не знать.

— Но можно жить без любви, скажите?

— Можно, — сказал он и опустил голову, как будто ему стало стыдно.

А я заплакал.

Сначала я не знал, что я араб, потому что меня никто не дразнил, а просветили меня только в школе. Но я никогда не дрался, бить людей — нехорошо.

Мадам Роза родилась в Польше еврейкой, но много лет промышляла в Алжире и Марокко, поэтому знала арабский, как мы с вами. Еврейский она тоже знала, в силу тех же причин, и мы с ней ча-

сто говорили на этом языке. Почти все остальные жильцы в нашем доме были черные. На улице Биссон есть три дома для черных и еще два, где они живут племенами, как у себя в Африке. Больше всех сараколле, потом идут тукулёры. И еще много других племен, но мне некогда все их вам перечислять. А в остальном там и на бульваре Бельвиль живут по большей части евреи и арабы. И так до самого квартала Гут-д'Ор, а там уж дальше идут французы.

Что у меня нет матери и что вообще она обязательно должна быть у людей, я тоже узнал не сразу. Мадам Роза старалась об этом не говорить, чтобы я поменьше думал. Я и сейчас не знаю, почему и зачем появился на свет и как вообще это получилось. Мой приятель Махут, он меня намного старше, сказал, что все из-за плохой гигиены. Сам он родился в Касбе, это в Алжире, а во Францию уж потом приехал. Так вот в Касбе никакой гигиены тогда не было: ни биде, ни водопровода, ничего, он потому и родился. Ему так отец потом объяснил, дескать, он не нарочно, и никто ничего плохого не хотел. Теперь, Махут сказал, у женщин, которые промышляют, есть особая пилюля для гигиены, а тогда еще не было, он слишком рано родился.

Ко многим тут у нас мамаши приходили раз или два в неделю, но только не ко мне. Мы почти все у мадам Розы были шлюхины дети, и часто мамаш месяцами не бывало в Париже, они уезжали промышлять куда-нибудь в провинцию, но перед отъездом и сразу как вернутся приходили навестить своих мальцов. Похоже, у всех, кроме меня, какая-никакая мать да была. И я стал мучиться из-за нее.

У меня начались колики и судороги, все ради того, чтобы она тоже пришла. Мне так один мальчишка на улице, тот, у которого был мяч, сказал: его мамаша приходила каждый раз, как у него болел живот. Мой живот тоже заболел, но впустую, и судороги тоже не помогли. Чтобы позаметнее было, я даже принялся гадить по всей квартире. И все равно зря. Моя мать не пришла, а мадам Роза обозвала меня грязным арабом, первый раз — она же была не француженка. Я орал, что хочу мою маму, и чуть не целый месяц гадил назло где ни попадя. Пока однажды мадам Роза не сказала, что если я не перестану, за мной придут и заберут в приют, тогда я испугался, приют — это самое страшное, это все дети знают. Я еще немножко погадил из принципа, но это ж не жизнь! В пансионе мадам Розы было тогда семеро шлюхиных детей, и все стали гадить как миленькие, в детях ведь очень силен конформизм, какашек вокруг валялось столько, что меня снова стало незаметно.

Мадам Розу это здорово доводило, мало того, что она была уже старой и сил у нее не хватало, мало того, что ей досталось как еврейке, так на тебе еще! Ей и так приходилось по нескольку раз в день затаскивать на своих бедных двоих целых девяносто пять кило на седьмой этаж, а тут еще, не успеешь зайти — дикая вонь, так что она, легко понять, с порога валилась в кресло со всеми своими покупками — и в слезы. Французов, говорила она, пятьдесят миллионов, и если бы все они делали то же, что мы, то даже немцы не устояли бы и дали деру. Мадам Роза хорошо знала немцев — она побывала в Герма-

нии во время войны, но вернулась. Поэтому, почуяв вонь, голосила: “Аушвиц! Полный Аушвиц!” Потому что она там была, в этом еврейском Аушвице. Зато расизма в ней не было ни капли. К примеру, ей случалось обозвать арабской свиньей маленького Моисея, но меня — никогда. Тогда я еще не понимал, какая тонкая душа была в ее толстенном теле. В конце концов я бросил гадить, раз без толку и моя мать не приходит, но колики и судороги остались надолго, и до сих пор еще иногда сводит живот. Я пробовал еще другие способы привлечь внимание. Стал тырить в лавках по чуть-чуть — то помидор, то дыню с уличного прилавка. И каждый раз старался делать это позаметнее. Обычно выбегал хозяин и давал мне затрещину, я начинал реветь, но, по крайне мере, хоть кому-то было до меня дело.

Однажды я стащил в бакалее яйцо. Хозяйка увидела. Я вообще старался воровать, где торговали женщины, потому что моя мать точно женщина, это единственное, в чем я мог быть совершенно уверен. Я взял яйцо и сунул в карман. Хозяйка подошла, и я ждал, чтобы она влепила мне оплеуху — знак того, что меня точно заметили. А она присела на корточки и погладила меня по голове. И даже сказала:

— Какой хорошенький мальчуган!

Сначала я подумал, она меня задабривает, чтобы выманить обратно свое яйцо, и покрепче сжал его в кармане. Ее дело — дать мне затрещину в наказание, так должна поступать любая мать, которой есть дело до своего ребенка. А она вместо этого дала мне еще одно яйцо — встала, взяла с прилавка и дала! И вдобавок поцеловала. Я передать

вам не могу, какая во мне вспыхнула надежда, потому что это невозможно. Я проторчал весь день перед лавкой. Ждал, сам не знаю чего. Иногда добрая тетенька мне улыбалась, а я стоял как вкопанный с этим яйцом в руке. Мне ведь было шесть лет — ну, или около того, — и я думал, что это не просто какое-то яйцо, а на всю жизнь. Вернулся домой, и у меня весь день потом живот болел. Мадам Роза была в полиции — ходила давать ложное свидетельство по просьбе мадам Лолы. Мадам Лола — травестутка с пятого этажа, она работала в Булонском лесу, а до того была чемпионом Сенегала по боксу и потому нечаянно ухлопала клиента-садиста, который так неудачно — откуда ему было знать — на нее напоролся. Вот мадам Роза и пошла засвидетельствовать, что в тот вечер ходила с мадам Лолой в кино, а потом они вместе смотрели телевизор. Я вам еще расскажу про мадам Лолу, я ее очень любил за то, что она не такая, как все, а вот бывают же.

Детишки — штука заразная. Стоит завестись одному, как тут же сыплются другие. В то время нас у мадам Розы было семеро, двое оставались только на день. Месье Муса, известный мусорщик, приводил их в шесть утра, когда вывозят баки, из-за того что жена у него умерла не знаю от чего, а забирал после обеда и дальше возился с ними сам. Остальные были Моисей еще младше меня, Банания, вечно веселый, потому что родился в хорошем настроении, Мишель, его родители были вьетнамцы, и мадам Роза говорила, что и дня его больше не продержит, с тех пор как исполнился год, что за него не присылали деньги. Она была славная женщина, эта еврейка, но все ведь имеет предел. Слишком уж часто бывало так, что мамаши отправлялись промышлять куда-нибудь, где лучше платят и больше спрос, а мальцов своих оставляли у мадам Розы и не возвращались. Все это были лишние детишки, которые не прервались вовремя еще в утробе. Иногда мадам Роза пристраивала их в семьи, которым

не хватало своих, но это было трудно — мешал закон. Если женщина вынуждена промышлять, она теряет родительские права, так установлено в проституции. Вот она и боится быть лишенной и прячет своего ребенка, чтоб его не отобрали. Поручает знакомым, которые точно не выдадут. Не сосчитать, сколько шлюхиных деток прошли через пансион мадам Розы, но мало кто, как я, оставался тут на постоянно. Не считая меня, дольше всех жили Моисей, Банания и вьетнамец — его в конце концов взяли в какой-то ресторан на улице Месье-ле-Пренс, так далеко, что, встреть я его на улице — не узнал бы.

Когда я начал требовать маму, мадам Роза обозвала меня неблагодарным сопляком и сказала, что все арабы такие же: дашь им палец — они и руку откусить норовят. Вообще мадам Роза была не такая, просто такие предрассудки, и я отлично знал, что был у нее самый любимый. Но когда я принимался орать, все остальные орали за компанию, так что мадам Розу обступали семеро мальцов и все требовали маму и вопили как резаные, так что с ней случалась коллективная истерика. Она рвала на себе волосы, а их и так оставалось негусто, и рыдала от неблагодарности. Закрывала лицо руками и рыдала, но что она могла против безжалостного возраста! Иногда даже куски штукатурки со стен отпадали, не оттого, конечно, что она рыдала, просто такой был материальный ущерб.

Волосы у мадам Розы были седые и тоже выпадали, потому что уже не держались, да и незачем было. Она очень боялась совсем облысеть, для женщины, у которой и так-то ничего больше не оста-

лось, это ужасно. Хотя кое-что — грудь и зад, например, — у нее было побольше, чем у кого угодно, и она частенько улыбалась в зеркало, как будто хотела сама себе понравиться. По воскресеньям она наряжалась с ног до головы, надевала рыжий парик, шла в сквер Болье и несколько часов шикарно сидела там на лавочке. Красилась она по нескольку раз в день, но это не очень-то помогало. Правда, с париком и макияжем все было не так заметно, тем более что она всегда приносила в дом цветы для красоты.

Потом мадам Роза успокаивалась, а как-то раз затащила меня в одно местечко, обозвала зачинщиком и сказала, что зачинщиков в тюрьму сажают. Сказала, что моя мама видит, как я себя веду, и, чтобы она когда-нибудь вернулась, я должен быть честным и послушным, без всякой подростковой преступности. Одно местечко у нас крохотное, и мадам Роза не входила в него целиком из-за своей полноты, удивительно, сколько объема приходилось на одного одинокого человека. Наверняка ей там было особенно одиноко.

Когда на кого-нибудь из нас переставали приходить переводы, мадам Роза и не думала выбрасывать виновного вон. Взять хоть Бананию. Отец его был неизвестен, так что с него взятки гладки, а мать присылала гроши хорошо если в полгода раз. Мадам Роза ругалась на Бананию, но тому хоть бы хны — ему всего-то три года было, а уж как он умел улыбаться! По-моему, если б не эта улыбка, мадам Роза, может, и сдала бы его в приют, но улыбку сдавать не хотела, а ее от Банании не отделишь, вот и при-

ходилось держать его тоже. Мне было поручено водить его в африканские дома на улице Биссон — мадам Роза считала, что ему полезно видеть черных.

— Он должен, — говорила она, — видеть побольше черного, а то потом не сможет приспособиться.

Итак, я брал Бананию и вел его туда. Ему все очень радовались: ведь там у всех семьи остались в Африке, а когда смотришь на ребенка, вспоминаешь о своем собственном. Вообще-то Бананию звали Туре, и кто он такой: малиец, сенегалец, гвинеец или еще кто — мадам Роза не знала, да и никто не знал, даже его мать — которая, пока не уехала в заведение в Абиджан, промышляла на улице Сен-Дени, — и та не знала, уж такая профессия.

За Моисея тоже платили нерегулярно, но и его мадам Роза не могла отдать в приют, тут дело такое, у евреев так не принято. А за меня перевод на триста франков приходил каждый месяц, так что не придерешься. Я-то думаю, мать Моисея просто его стыдилась, наверно, была из хорошей семьи и родители ничего не знали, а у него и волосы были светлые, и глаза голубые, и характерного носа не было — только взглянуть на него, и все ясно.

Мои аккуратные три сотни франков внушали мадам Розе уважение к моей особе. Мне было лет десять, и уже появлялись неудобства раннего развития — у арабов встает раньше, чем у других. В общем, я знал, что я для мадам Розы важное подспорье и она сто раз подумает, прежде чем меня выгнать, как волка из лесу, не то сама голодной теткой останется. Ну и обошлось, конечно, тогда, в одном местечке, когда мне было шесть лет. Вы скажете,

я путаю годы, но это неправда, я вам потом, при случае объясню, как вдруг разом стал на несколько лет старше.

— Слушай, Момо, ты самый старший и должен подавать пример, так что давай прекращай эти концерты насчет твоей мамочки. Вам повезло, что вы своих мамаш не знаете, малы еще такие вещи знать, потому что они у вас самые что ни на есть настоящие шлюхи, подумать страшно. Ты понимаешь, кто такие шлюхи?

— Кто промышляет тем, что трахается за деньги.

— Не знаю, где ты таких слов нахватался, но по сути так и есть.

— Вы ведь тоже, мадам Роза, так промышляли, когда были молодой и красивой?

Она улыбнулась — приятно слышать, что ты когда-то была молодой и красивой.

— Ты славный мальчик, Момо, только уж очень шебутной. Уймись и будь мне помощником. Я старая больная женщина. Как вышла из Аушвица — так и посыпались сплошные напасти.

Она была такой несчастной, что уже и не видно, какая страшная. Я бросился ей на шею и поцеловал. На улице говорили, что у нее нет сердца, и верно, откуда бы ему взяться. Целых шестьдесят пять лет продержалась без сердца, и если теперь иногда не выдерживала, то это вполне простительно.

Она так плакала, что я чуть не описался и сказал:

— Простите, мадам Роза, мне надо пописать.

А позже я ее спросил:

— Ладно, я понял насчет мамы, что это никак нельзя, но можно мне вместо нее хотя бы собаку?

— Что-о?! Собаку? По-твоему, у нас тут есть место еще и для собаки? А чем я кормить ее буду? Кто будет ей-то переводы присылать?

Но когда я однажды украл из собачьего питомника на улице Кальфётр серого кудрявого пуделька и принес его домой, она и слова не сказала. Я пришел в этот питомник, спросил у хозяйки разрешения погладить пуделька и посмотрел на нее, как я умею, она мне его и дала. Я взял щеночка, погладил и как дуну с ним вместе. Что-что, а бегать я умею хорошо. Иначе в жизни пропадешь.

Досталось мне с этой собакой. Я полюбил ее как не знаю что, подумать страшно. И остальные тоже, все, кроме Банании, — этому было все равно, ему и так хорошо, без собаки и без всякой причины, я ни одного черного не видел, чтобы у него имелась для этого причина. Я таскал пуделя на руках и все никак не мог ему придумать имя. Пробовал звать Тарзаном или Зорро, но каждый раз чувствовал, что это не то и где-то есть имя как ни у кого, которое его поджидает. В конце концов выбрал кличку Супер, но на время, пока не подыщу что-нибудь получше. Все, что во мне накопилось, я излил на Супера. Он появился в самое время, не знаю, что бы я делал без него, скорей всего, загремел бы в тюрягу. А так… прогуливал его по улице и чувствовал себя человеком, потому что для него был всем на свете. Я так любил его, что даже отдал. Мне было лет девять или около того, в этом возрасте люди уже начинают думать, если им не мешает счастье. У мадам Розы жить, откровенно говоря, было невесело,